



**Владимир
ГАНДЕЛЬСМАН**

разум слов

Поэтическая библиотека (Время)

Владимир Гандельсман

Разум слов

«WebKniga»

2015

УДК 821.161.1-1
ББК 84Р7-5

Гандельсман В.

Разум слов / В. Гандельсман — «WebKniga»,
2015 — (Поэтическая библиотека (Время))

В книгу Владимира Гандельсмана вошли стихи, написанные за последние сорок лет. Первая часть книги – избранное до 2000 года. Вторая – книги стихов, выходившие отдельными изданиями после 2000 года.

УДК 821.161.1-1
ББК 84Р7-5

© Гандельсман В., 2015
© WebKniga, 2015

Содержание

Разум слов	7
Человеку нужна только комната	7
«Как ты не любишь, как зима черна...»	7
«Я люблю твою жизнь, что согрета теплом изнутри...»	7
Данте	7
«Тихопомешанному на муравьях...»	8
«Снег – на землю, душа – от земли...»	8
«В области пчёл, в рыжей стране с солнечной осью...»	9
«Сквозь тьму непролазную, тьму азиатскую, тьму...»	9
«Расширяясь течением реки, точно криком каким...»	10
«Бывали дни безмыслия...»	11
«Где прошлое, в особенности то...»	11
«Вечер. Капель синь...»	12
«Я жил не в эпоху войны...»	12
«Без отечества по существу...»	13
«Если заперты рыбы, прохожий...»	13
«Троллейбус, что ли, крив...»	14
«Чем пахнет остывающий уют...»	15
«Ты – лишь инстинкт переступанья...»	15
«Вот и Нила разлив...»	16
«Скучно жить стало...»	17
«Всё совестней цепляние за жизнь...»	18
«Над дебаркадером ползёт чёрно-серое небо...»	18
«Я тоже проходил сквозь этот страх...»	19
«Я говорю с тобой, милый...»	20
«Слушай! Когда тишина над рекой бессловесна...»	20
«Это город слепых...»	21
«Вы просыпались рано утром...»	22
«Когда бы знал, что ждёт...»	23
«И от любви остаётся горстка...»	23
«Человеку нужна только комната...»	24
«Феноменальность жизни моей, шага...»	24
«Ребёнок спит, подложив под щеку...»	25
«О радости – как засыпает мост...»	25
«Домой, домой, домой...»	26
Три времени года	26
1. «Чередование года времён...»	26
2. «За ночь снега под дверь насыпет...»	27
3. «В угол, в уголь смотрел чёрно-синий...»	27
«Ещё хожу и говорю...»	27
«В точке мира стоять...»	28
«Я о тебе молюсь...»	28
«Шум, шум, шум...»	29
«Есть чувства странные, живущие не в сердце...»	30
«Ехал ученику...»	30
«Должен снег лететь...»	31

«Если это последний...»	31
«...из тех, кто ждёт звонка и до звонка...»	32
«Днём в комнате зимы начальной...»	32
На ладони	33
1. «Как я свободен...»	33
2. «Это долгий путь...»	33
3. «Я ли при жизни...»	33
«Я шум оглушительный слышу Земли...»	35
Вступление	35
Часть первая	37
«Мальчик встанет, телом тонким потянувшись...»	37
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Владимир Гандельсман

Разум слов (сборник)

© Владимир Гандельсман, 2015

© Валерий Калныньш, дизайн серии, 2015

© «Время», 2015

Разум слов

Человеку нужна только комната

«Как ты не любишь, как зима черна...»

Как ты нелюбишь, как зима черна,
как нелюбовь твоя непредставима,
о, всё, чем жив – тобой, твоим, твоими,
на всё твоё душа обречена,
не дай любить кому-нибудь, как я
тебя, и вспоминать, как вспоминаю,
как ты нелюбишь, будто жизнь иная
нам предстоит, любимая моя.

«Я люблю твою жизнь, что согрета теплом изнутри...»

Я люблю твою жизнь, что согрета теплом изнутри,
от тебя независимо, взятую всею тобою,
у окна, где дрожат осыпающиеся фонари
и уходит трамвай к Блохину, словно зверь к водопою.

Я тем больше люблю её, что не могу сохранить
так, чтоб ты её тоже любила и, больше не споря,
чтоб душа твоя в силах была повторить
эту чистую линию тела, лишённую горя.

О твоём белоснежном объёме, имеющем зреньё и слух,
о гордыне твоей в драгоценном сосуде,
говорю о тебе, о твоём умирающем чуде —
так смиренно создать мог не гордый, но любящий дух.

Данте

Я в неоплатном пред тобой долгу
за оголённость слова до весла,
которым толщу океана гну.
Прощай навеки, ты меня спасла.

Я знаю, с кем я разговор веду,
и если слышен в голосе металл,

то это к непосильному труду.
Я видел куст – он кровью истекал.

Не узришь ты ни скорбного лица,
ни слёз моих, их бездна подо мной,
горбатое усилие гребца
не знает этой немощи земной.

Не до друг друга, мы теперь – одно,
езде тебе пристанище, как мне
изгнание повсюду суждено.

«Тихопомешанному на муравьях...»

Тихопомешанному на муравьях
чайка была продолженьем ладони,
с пепельной славой на тонких крылах
и в летаргическом полунаклоне.

Он растворялся в соседних мирах.
Бледным цветком, прозябающим в скалах,
осенью в сердце селившийся страх
так и дрожал среди родственных малых.

Жизнью соринки, что слишком мала,
тихопомешанному увлечься
было всегда перед сном и улечься
с радостным риском – была не была!

Всё продолжается – только и знал,
было движение – так он и помнил,
только и видел: соломинку поднял,
на муравьиной тропе исчезал.

«Снег – на землю, душа – от земли...»

Снег – на землю, душа – от земли,
вам сегодня меняться местами.
Что ты медлишь, душа? Утоли
этот замысел. Больно?

Так зачем привязалась ко мне?
Наш разлад – он затеян над нами.
Ты любила кого-нибудь? Нет.
А со мной породнилась невольно.

Всё кому-нибудь принадлежит.
Снег и снег, как попытка оспорить,
исчезая, летит и летит,
так прекрасен, что боязно вторить.

Ну и всё же скажи, мы могли
полюбить, как пришли, – не владея?

«В области пчёл, в рыжей стране с солнечной осью...»

В области пчёл, в рыжей стране с солнечной осью,
там, где паук плёл мои сны по древесине,
я собирал дождь золотой или колосья
и на веранде павлин плыл в керосине.

Книгою мне лес пламенел, набранный густо
временем игл, липкой листвой и запятыми
угольных мух, влажным камням – влажное чувство
вторило и растворялось в полуденном дыме.

Этот песок вдоль по ступням к пяткам сандалий,
гретый асфальт или залив в отмелях белых,
россыпь мальков, хрупкий хрусталь рыбьих печалей,
их позвонки, перезвон слёз тонкотелых.

Если бы мог, если бы смел я усомниться
в том, что живу, прежде не жив, или растение
если бы смел не называть умершей птицей
или птицу не называть ангельской тенью,

то и тогда...

«Сквозь тьму непролазную, тьму азиатскую, тьму...»

Сквозь тьму непролазную, тьму азиатскую, тьму,
где трактор стоит, не имея любви ни к кому,
и грязи по горло, и меркнет мой разум,
о, как я привязан к Земле, как печально привязан!

Ни разу так не были дороги ветви в дожде,
от жгучего, влажного и торопливого чтенья
я чувствую, как поднимается сердцебиенье
и как оно глохнет, забуксовав в борозде.

Ни разу ещё не желалось столь жадно жить,
так дышит лягушка, когда малахит её душат,
но если меня невзначай эти ночи разрушат,
то кто, моя радость, сумеет тебя говорить?

Так вот что я знаю: когда меня тянет на дно
Земли, её тягот, то мной завоёвано право
тебя говорить, ну а меньшего и не дано,
поскольку Земля не итог, но скорей переправа.

Над огненным замком, в котором томится зерно,
над запахом хлеба и сырости – точная бездна.
Нещадная точность! Но большего и не дано,
чем это увидеть без страха, и то неизвестно.

«Расширяясь течением реки, точно криком каким...»

Расширяясь течением реки, точно криком каким,
точно криком утратив себя до реки, испещрённой стволами,
я письмом становлюсь, растворяясь своей вопреки
оболочке, ещё говорящей стихами.

Уходя шебуршаньем в пески, точно рыба, виски
зарывая в песчаное дно, замирающим слухом...
Как лишиться мне смысла и стать только телом реки,
только телом, просвеченным – в силу безмыслия – духом.

Только телом, где кровь прорывает ходы, точно крот,
пронося мою память, её разветвляя на жилы...
Я к тебе обращён, и теперь уже время не в счёт:
обращённый к тебе, исчезаю в сознании силы.

Опыт горя и опыт любви непомерно дают
превращение в сердце, лишённое координаты,
оно – всё, оно – всюду, с ним время в сравнении – зуд,
бормотание, шорох больничной палаты.

И теперь всемогущество зрения – нежность его,
пусть зрачок омывает волна совершенным накатом,
это значит, пробившись за контур, слилось существо
с мнимо внешним и мнимо разъятым.

«Бывали дни безмыслия...»

...и потом одаривает втрое.

В. Черешня

Бывали дни безмыслия, июль
на цыпочках заглядывал с балкона,
и проникал, чуть оживляя, тюль,
и к изголовью свет струил наклонно.
Бывали дни – не верил, что умру,
когда нас ночь на даче заставляла,
и сад сиял, и больше никому,
нигде и никогда не предстояла
не только ты, но эта полнота,
утишившая время до приметы.
Я и теперь не верю, хоть она
изнемогла, распавшись на предметы.
Я и теперь не верю, но слабей.
Скажи: волна уходит, оставляя
воспоминанья в линзах пузырей,
один пузырь с другим сопоставляя...
Но человек, склонённый над столом,
не слышит, как стучит металлолом
и мёртвые клешни передвигает,
он времени волну одолевает,
и всё его живое существо
втройне одарено одним мгновеньем:
июльским днём, бессмертным помышленьем
и точным воплощением его.

«Где прошлое, в особенности то...»

Где прошлое, в особенности то,
которого не помню? Не уверен,
что я там жил, и надевал пальто,
подшитое убитым насмерть зверем,
и выходил в пространство... Там – никто.

Но где уже случалась эта явь,
которой остановлен я сегодня:
пальто, и приоткрытый в бездну шкаф,
и нечто, что томится в преисподней,
себя своею памятью обстав?

И промельком – окно, белёсый дым

над городом, где я всегда повинен
в твоих слезах... О чём мы говорим?
Зачем наш спор так сумрачен и длинен?
Чего ещё друг другу не простим?

Какая тяжесть в том, что не укрыть
забвением себя, и тяжесть вдвое —
не помнить, *что* ты помнишь, не любить
тех призраков, притянутых строкою,
которых ни изгнать, ни воплотить.

«Вечер. Капель синь....»

Вечер. Капель синь.
Уличный фонарь —
мокрый апельсин.
Зарево и хмарь.

Ложное торчит
тело. Ты моё?
Как я нарочит.
Лодочка-чутьё.

Влажное весло
вспыхивает там.
Мост. Не Ватерлоо.
Тело по пятам.

Кто во мне идёт?
На исходе дня
тело завернёт
за угол меня.

Островок сухой
от его пяты
стянется водой.
Что здесь было? Ты?

«Я жил не в эпоху войны...»

Я жил не в эпоху войны,
не в пору гонений неправых,
не в горькое время вины,
на личных настоящей травах.

От пыли полуденной сер,
в припадках то зла, то роптанья,
я жил, как замотанный зверь,
заботами о пропитанье.

И дни мои сбились в одно
пугливое серое стадо,
я с мёртвою болью в окно
следил за живучестью сада.

И слово искало порог
ступить и исторгнуться вещью,
но горло могучие клещи
сжимали, и зверь становился жесток.

Уж лучше б я был недвижим
и слеп, чем, запёкшейся речью
сращённый с тоской человеческой,
задуман настолько живым.

«Без отечества по существу...»

Без отечества по существу,
на одной из нелюбящих родин
оказавшись в значенье «живу»,
я дышу – и тем самым свободен.

Я свободен, я делаю шаг,
проявление собственной воли,
зарождаюсь во мраке – во мрак
переходит, но высветяюсь, что ли.

Так вот в комнате фары спугнут
застоявшуюся перспективу —
удлинённые тени взбегут
по стене и сбегут торопливо.

И на стыке косых плоскостей
своевольным капризом движенья
ты пронизан до самых костей,
лишний раз изменив положение.

«Если заперты рыбы, прохожий...»

Если заперты рыбы, прохожий,

подо льдом чернокровной зимы,
не сошлёмся на промысел Божий —
мы виновны, что это не мы.

Не забудем холодные трубы
(после кубиков на ковре)
первых зим и цигейковой шубы
леденеющий ворс на дворе,

невозможную эту картину
чистоты, изумленья, тоски,
и ботинки, и вонь гуталина,
вечнорвущиеся шнурки.

Всё могло повернуться иначе,
если б ты не на шутку продрог,
как упорный, косою и собачий
этот бег мостовой поперёк,

и теперь, если ты не безумец,
у перил, на железном мосту,
ты останься без дома, без улиц,
без всего, я имею в виду, —

будет страшно и празднично как бы,
как на кухне в торжественный час,
где дышали зеркальные карпы,
шевелия металлический таз,

и, сочувствуя мёрзнущей твари,
ты над этой страной воспари
полосой розовеющей гари,
кровоточащей раной зари.

«Троллейбус, что ли, крив...»

Троллейбус, что ли, крив,
раздрызган и знобящ,
что едешь, полужив,
завёртываясь в плащ,

дрожишь, облокотясь
на отсвет свой в окне,
без тела-то сейчас
ему теплей, чем мне.

Да, я бы мог не жить,

не видеть вообще,
и слов не говорить,
и не дрожать в плаще,

но если это Бог
мне зябкий подал знак,
то как Он одинок,
Собой расщедрясь так.

«Чем пахнет остывающий уют...»

Чем пахнет остывающий уют,
и комнаты молочное смерканье,
и женственная плавность этих рук,
как не ребёнком спящим, как не тканью,
где затаился шёлковый испуг.

Средь бела дня есть пауза, она
от тяжести любви почти свободна,
в ней женщина не мать и не жена
и сбывшемуся так же чужеродна,
как будто на него осуждена.

Не я из её паузы изъят,
я только лишь угадываю сумрак
да зеркала темнеющий квадрат,
где в глубине графин с набором рюмок
мерцающее что-то говорят.

Тем лучше, что мы не были близки,
что порознь испытываем эти
приливы изумительной тоски,
которые испытывают дети,
проснувшись, когда в комнате ни зги.

«Ты – лишь инстинкт переступанья...»

Ты – лишь инстинкт переступанья,
инстинкт ступни,
услышавшей пересыпанье
песка и шорох
листвы в осенних коридорах,
где гаснут дни,

ты – только ритм преодоления

всех мер длины,
пульсация без направленья,
наклон походки,
зрачки, посаженные в лодки,
что так черны,

освобождение от шарфа,
от шляпы, блеск
волос, упавших, точно арфа,
меж пальцев, если
ты перед зеркалом и в кресле,
и слышен плеск

дождя, начавшегося с ходу,
чтоб жизнь в тепле
вдруг оттенила непогоду,
и вечер зябкий,
и женщину в намокшей шляпке —
там, в полумгле, —

ещё сильнее, ты – согреваньё
еды, питья,
со стороны ты – небыванье
на этом свете,
так отрешённо смотрят дети
из забытья.

«Вот и Нила разлив...»

Вот
и Нила разлив,
крокодилъского Нила,
крокодилъского Нила разлив.
На окраине Фив
ночь слезы, говоришь? Как ты плачешь, Исида, красиво,
очи полузакрыв!

Ты
прекрасна, ты миф,
одаряющий щедро
благодарные полосы нив.
Но поблизости Фив
мне к отплытью готовиться в барке ливанского кедра,
слышишь арфы призыв?

Не
дожив до войны

(слава богу Амону!),
пару лет не дожив до войны,
я загробной страны
дуновению внял и поддался холодному гону
той змеиной волны,

той
волны, исподволь
абиссинскою кровью
гор увитой... Но так не неволь,
распусти мою боль,
мой клубок жизнелюбия, крови, прокорма, здоровья
и не сыпь эту соль!

И
бескрайний песок,
и просторы не эти ль
я любил, но не мог, но не мог
тебе верить, мой бог...
Моё сердце, пишу, не восстань на меня как свидетель
по ту сторону строк.

«Скучно жить стало...»

Скучно жить стало, в этой связи
мирры, что ли, мне привези,
перьев страусовых, милый муж,
надоело в грязи —
то дожди проливные, то сушь.

Хоть и нету тебе житья
от причуд моих и нытья,
с Пунта дальнего, милый муж,
скоро ль с глупостями ладья
завернёт в нашу глушь?

Что мечтать о полях Иалу,
милый муж, коли служишь злу,
служба – умным, нектар – для дур,
ты пахучую эту смолу
привези да пантеровых шкур.

Пусть не вспыхнет вода огнём
под твоим, милый муж, веслом,
пусть, с твоим дыханием слит,
Шу ни ночью дыханье, ни днём
от ноздрей твоих не отвратит.

А вернёшься – податься из
этих мест хорошо бы вниз
по течению, там-то уж
ты простишь мой каприз
и тоску мою, муж.

«Всё совестней цепляние за жизнь...»

Всё совестней цепляние за жизнь,
а речь срывается в словесный шум, кишащий
самим собой, ты вылазке кошачьей
четверолапых строф бросаешь «брысь!».
Речь раньше разума, невнятность не каприз,
но чуянье и призрак настоящий.

И, в дебри зарываясь, как зверьё,
почуявшее смерть, она клокочет
тем человечнее, чем больше забытьё,
чем более сама себя не хочет...
То жизнь моя, цепляние моё,
обвал и пропадание среди ночи.

«Над дебаркадером ползёт чёрно-серое небо...»

Валерию Черешне

Над дебаркадером ползёт чёрно-серое небо,
пожиратель стоит пирожков,
и дымятся лотков маслянистые недра,
и в крестовом походе летящего снега
я прочитываю: Петергоф.

Всё. Пора. Всё. Пора. Затолкать себя в тамбур.
Набирая и скорость и хруст,
пусть меха меж вагонами хрипло болеют катаром,
а на станциях двери, расфыркавшись паром,
останавливают вдали чернокуст.

Ради слова, растущего ветвью, энергией взрыва —
промахнувшись, бесспорно попасть, —
ради внутрислогового в суставах его перебива,
перелома, сращённого верно и криво,
я и трачу построчную страсть.

Разве речь одержимого не пробирает до дрожи,
и её осязаемый пыл
через голову смысла бросается на бездорожье
ослепительных чуждостей, но – и не тронутых ложью,
и исполненных сил.

Разве из черноты набегают огни Петергофа,
или это скорей
называние жизни, и тяжеловесные строфы,
и ворчанье с ворочаньем в шубе, сцепления грохот,
шаг вовне из разверстых дверей.

«Я тоже проходил сквозь этот страх...»

Я тоже проходил сквозь этот страх —
раскрыв глаза,
раскрыв глаза впотьмах, —
всех внутренностей, выгоравших за
единый миг,

и становился как пустой тростник,
пустой насквозь,
пустее всех пустых,
от пальцев ног и до корней волос,
я падал в ад,

точней во тьму иль в вашу Тиамат,
не находя,
где финиковый сад,
где друг умерший, где моё дитя,
где солнца жар,

где ты, спускающийся в Сеннаар,
где та река
и где над нею пар,
где выдохнутый вон из тростника
летучий дар.

Я этим жил на протяжении лет,
тех лет моих,
которых больше нет
ни среди мёртвых, ни среди живых,
я извлекал

звук из секунд, попав под их обвал,
благодаря
тому, что умирал

прижизненно, а зря или не зря —
поди измерь...

Не так твоими мускулами зверь
зажатый пел,
как я, скажи теперь?
Не песней ли и ты перетерпел
ночной кошмар,

ты, с гор спускающийся в Сеннаар?
Смотри – река,
смотри – над нею пар,
как выдохнутый вон из тростника
летучий дар!

«Я говорю с тобой, милый...»

Я говорю с тобой, милый, из угольной, угольной
ямы, своей чернотой смертельно напуганной,
вырытой, может быть, в память об Осип Эмильиче,
помнишь, твердившем в Воронеже: выслушай, вылечи.
Я говорю с тобой, больше и не с кем, и не о чем,
только с тобою, ещё нерождённо-нежнеющим
во временном послезавтрашнем срезе, ты выуди
смысл оттуда, где нет его, ты его вынуди
быть в этой угольной яме, безумной от копоти,
выкопай слово о счастье, о смысле, об опыте
письменной речи – возьми её в виде образчика
речи, сыгравшей прижизненно в логово ящика,
в страшной истории так откопают умершего,
Господи, он ещё дышит, утешься, утешь его.

«Слушай! Когда тишина над рекой бессловесна...»

Слушай! Когда тишина над рекой бессловесна,
там, на кольце сорок пятого с семьдесят первым,
там, где деревья стоят над рекою отвесно
в чём-то сыром – то коричневом, то светло-сером, —
дни моей жизни таким убывают манером,
что пресловутому сердцу становится тесно.

Слушай! В ветвях облетевших не больше смиренья,
чем в оживлённых листвой, но в осенних пробелах
ищет смиренных сестёр сиротливое зреньё
прямолинейнее... И в монотонных пределах

низкого неба, среди облаков крупнотелых,
осени блёклое солнце – ему озаренье.

Что же, не зря облюбован был мной этот угол,
где по ночам, в черноту непроглядную в оба
глядя, твердил: примиришь! если кто и напутал
в жизни – ты сам, примиришь, привыкай к форме гроба
в этой каморке, где затхлости запах особый,
где ты безверие зябло в иронию кутал.

Что же, отъявленный бред полагать, что за ширмой
был кукловод – разве он уместился бы в образ? —
нет, никогда, никогда ты не слышал надмирный
голос Того, для Кого ты придумывал голос,
хоть и не верил в Него, и осенняя морось
всё застилала, как жгучей тоскою обширной.

Слушай! Когда, вокруг полуденной точки свернувшись,
день, не успев посветлеть, угасал, там, где вечер
осени поздней под дверь мою сбрасывал тушку
голубя – вот благовещенье! – там, где я встречи
этой пугался и вздрагивал, там, где диспетчер
метрах в двухстах, на кольце, превращалась в старушку —

слушай! – там дни моей жизни текли неизбывно,
впрочем, щадя и ночные часы замедляя,
там, где последний автобус гасил свои бивни,
там, где, инерцию наглого слова теряя,
я засыпал и вставал, уже не понимая
прошлого дня с его пульсом тяжёлого ливня.

«Это город слепых...»

Это город слепых,
розоватых, трапецеобразных
стен, от ветров ненастных
оградивших живых,
это город глухих
переулков несчастных
и безмолвных, прекрасных
снегопадов густых.

Это город теней
во дворах нездоровых,
это город готовых
к вымиранью людей.

Это город детьми
облюбованных горок,
древний образ мне дорог, —
если хочешь, возьми, —

это город зимы,
мандариновых корок,
холодов, полутьмы,
вереницы огней
с жёлтым прицветом йода,
и железных коней,
и того пешехода...

Ну, живи, цепеней.

«Вы просыпались рано утром...»

Вы просыпались рано утром,
зимой, когда по цвету дыма
из заводской трубы определяли
температуру воздуха... Тогда
вы знаете, как ищет мысль лазейки —
как мышшь, откопанная на морозе,
живая, обезумевшая, в страхе
бросаясь напролом...
Месяц как твержу:
«Я ещё здесь, здесь, здесь,
Господи, здесь...» —
не разжимая губ твержу и продолженья
не вижу столь же истинного...
Вы просыпались рано утром,
зимой, проездом
вы замечали в окнах заводских
рабочего, вы думали: как рано
он приступает к выполнению плана —
такой живой! Вам не было смешно...
Вы помните, вас в детский сад будила
передовая сталинская мама,
включая беспощадно свет
и радио одновременно,
а вы за миг до этого
всей мышечною, мышьею жизнью
в сон зарывались под одеяло,
вы помните, как в детство проникает —
в столь раннее, что — навсегда, — казённый
линолеума запах, туалета
и кухонный непостижимый дух...

Вы просыпались рано утром,
зимой...

«Когда бы знал, что ждёт...»

Когда бы знал, что ждёт,
не захотел бы жить,
но ты всегда лишь тот,
кто и не мог не быть.

Но если здесь дышать,
таких измен, как та,
ты бы не мог не знать,
ты бы не жил тогда.

И говорю: прими.
Ты не обманут, но
лишь окружён людьми,
и потому – темно.

«И от любви остаётся горстка...»

И от любви остаётся горстка
пепла, не больше напёрстка.
Нет, не страшно стало душе
быть нелюбимой уже.

Вот тебе рукавицы, ватник,
лампочка в сорок свечей,
кружка воды и мышинный привратник.
Чей ты теперь? Ничей.

Будешь двуруким теплом двуногим
жить, согревая тьму,
счастьем обязан был ты не многим,
будешь зато – никому,

это и есть твоё счастье... Всё же
это ещё и твой страх,
что и тогда тебе Бога дороже
будут пепел, напёрсток, прах.

«Человеку нужна только комната...»

Человеку нужна только комната,
комната и кровать,
чтобы не метаться из города
в город, не ночевать
на вокзале, не дрожать от холода.

Человеку нужна только комната,
чтобы молиться всенощно
и вседенно о себе и о ком-то
ещё любимом, чтобы чувства мощно
высились подобно иконам.

Человеку нужна комната
и жизнь, прожитая неверно,
с ненавистью, с удушающим опытом
измены, трусости, скверны
пошлого на ухо шёпота,

чтобы сердце рвалось, потом окрепло
и превратилось в скалу, чья память
не возрождает из пепла
любимых, ни подниматься, ни падать
не умея, но лишь стоять ослепло.

«Феноменальность жизни моей, шага...»

Феноменальность жизни моей, шага,
вдоха грудная тяга,
коченеющий утра пустой объём
и шаги мои в нём.

В жизнь упавший, в чехле
кожи, с принятой на земле
логикой мышц, суставов, костей
вертикальных людей,

я иду к остановке, и там стою
безмолвно, и не перестаю
шевелить от холода пальцами ног,
весь – удар прицельного бытия и его срок.

«Ребёнок спит, подложив под щёку...»

Ребёнок спит, подложив под щёку
руку, другой обняв
куклу, ему не снится совесть,
он глубоко прав.

Так глубоко, как на пустыре
снег, – ни фабрик вблизи,
ни чёрных фигур во дворе
по колено в грязи.

Снег на пустыре один,
как ребёнок, спит,
он ослепительно состоит
из самого себя.

«О радости – как засыпает мост...»

О радости – как засыпает мост,
как засыпают полувеки
его пролётов,
как снег летит в деревья, в их навеки
открытый мозг,

о русле, где лиловое сверло,
своих тяжёлых оборотов
вращая бремя,
колеблет цепи ртутных перемётов,
и занесло

мой спичечный – по крышу – коробок,
дарованный на время
сезонной стужи...
Два-три пейзажа, чувства, две-три темы
и детский бог —

вот всё, что есть, все крохи изнутри.
О радости, о разности – снаружи
покой могучий,
душа иль плоть – они так много хуже
любой поры.

Лишь точной речи, поднятой со дна,
влажно-сыпучей,

вся разность эта —
ослепшей речи, поднятой на случай, —
всегда равна.

О радости – как засыпает всё,
как милицейская комета
летит, мигая,
наматывая зелень снега, света
на колесо.

«Домой, домой, домой...»

Домой, домой, домой,
с Крестовского съезжая
моста, я вздрогнул: боже мой,
какая жизнь простая,

как всё проявлено: торчат
деревья, трубы,
и мокрый снег летит, и спят
в снегу гребные клубы,

и всё молчит, срезаясь за
стекло косым квадратом,
то набегая, то сквозя,
то волочась закатом,

а там, среди серых плоскостей,
смиряются, смиряют,
хоронят, любят, ждут гостей,
живут и умирают,

и надо двери отворить,
и надо чаю заварить.

Три времени года

1. «Чередование года времён...»

Чередование года времён
я застаю у себя в котельной,
с мышью, притихшей в кладовке, вдвоём
слушаем осени шум запредельный
или вдруг слушать перестаём.

Третий уж год параллельно реке
я засыпаю, по левую руку —
парк, и ничто уже не вдалеке.
Дверь открываю и радуюсь другу,
снегу, тающему на воротнике.

2. «За ночь снега под дверь насыпет...»

За ночь снега под дверь насыпет,
я лопатой его разгребу,
оглянусь – параллелепипед
дома жёлтого на берегу,
дверь открыта и чай не выпит.

А на стенах осела копоть,
невесомый рисунок дней,
тех, что некий безумец копит
и записывает... Ему видней...
Но меня ничто не торопит.

3. «В угол, в уголь смотрел чёрно-синий...»

В угол, в уголь смотрел чёрно-синий
я вчера и таких длиннот
вдруг услышал – не звук – пустыню,
что замедлило время ход
и пропало в полночной тине.

Но откуда тогда под подошвой
утра хрусткие ямы, бугры,
ночь, утёкшая в темень коры,
мир с голубизною подмёрзшей
накануне цветенья поры?

«Ещё хожу и говорю...»

Ещё хожу и говорю,
на голос отвечает голос,
из электрички тонкую зарю —
вот эту – я увижу ли ещё раз?

Какую глупость совершить могу —
так втrogаться в стеклянно-пыльный
пейзаж, что говорить: я избегу

тоски грядущей, непосильной,
и не завидую не любящему жизнь.

Но я уже не верю
словам, которые произнеслись.

Мы жаркие, вседышащие звери
и ничего не избежим.
Тем ненасытной потрясенье,
когда в вагоне в тридцать тел дрожим
и дышим сумерками воскресенья.

«В точке мира стоять...»

В точке мира стоять,
тучным телом её заполнять,
под молочную кожей руки
слабый воздух нежнеет,
и дождём, набираясь сознания, вдруг тяжелеет,
рассыпается на черепки,

и уходит буксир под темнеющий свод,
выворачивая рукав
мирового пространства, его, исчезая, взорвав.
Разве был мне когда-нибудь год?

Черепки, черепица дождя
затихает, и воздух, свежая,
снова ластится, как дитя,
и в ключицы впряжённая шея
человеческий череп вращает для бытия.

«Я о тебе молюсь...»

Я о тебе молюсь,
я за тебя боюсь.
Пока живём – живём,
пока вдвоём – вдвоём,
но как вместить обещанную грусть,
какое платье из неё сошьём?

Я не хочу смотреть
на государство-смерть,
и на его зверей,
и на его червей,

но как вместить обещанную твердь,
читатель Иоанновых страстей?

Но как тебя спасти,
когда нас нет почти,
и дар случайный жить
нас понуждают скрыть.
Я ничего не вижу впереди.
Как эту тьму кромешную вместить?

Дай только раз вдохну,
дай только жизнь одну, —
пока живём – живём,
пока вдвоём – вдвоём, —
дай только жизнь ещё раз помяну.
Жить будем ли мы вновь, когда умрём?

«Шум, шум, шум...»

Шум, шум, шум
дождя, шум, шум,
спит земля-тугодум,
я в подушку стихи прочту
не про эту жизнь, а про ту,
где и сердце и ум.

Спит, спит, спит
земля, спит, спит,
кто убил, тот и сыт,
я тобою лишь дорожу
да ещё двумя, кем дышу,
кто ещё не убит.

Друг, друг, друг,
тебе, друг, друг,
моё слово не вдруг,
ты приник к нему-своему,
как и я приник к твоему,
есть лишь родственный звук.

Лишь, лишь, лишь
дождя, лишь, лишь,
под который ты спишь,
наполняет комнату шум,
шевелиющихся долгих дум
потрясённая тишь.

«Есть чувства странные, живущие не в сердце...»

Есть чувства странные, живущие не в сердце,
но в животе, и даже не как чувства
живущие – скорей как мышцы. Свет
в подвале зажигая, полсекунды
ты смотришь никуда, чтобы они
успели незамеченными смыться.
И можно жизнь прожить, не отогнав
и не постигнув маленького чувства,
которое заполнило тебя.
Нелепость. Но когда родную дочь
старик подозревает не своею,
то не измена мучает его,
а то, что он любовь извёл на нечто
столь чуждое, что страшно говорить.

«Ехал ученику...»

Ехал ученику
дать урок на краю
города по языку
и в проезжую смотрел колею,

загорались огни
новостроек, вдали
лезли в душу
рельсы, шпалы, клочки земли,

вот отец его, адвокат,
предлагает борща:
«Пища сталинская у нас, простая,
мы с сынком
остались вдвоём», —
е и ё после ща,

где её (после ща)
обитает здесь дух?
Я смотрю на сынка, на хрыча,
проверяю на слух:

человеческий род,
этот полный абсурд,
пощадил бы и тот,
кто не полностью мудр.

«Я вас вознагражу». —
«Извините, спешу».
Руку гладко-сухую суёт,
сын снуёт, сын на заднем плане снуёт.

«Должен снег лететь...»

Должен снег лететь
и кондитерская на углу гореть,
мать ребёнка должна тянуть
за руку, должен ветер дуть,
и калоши глянцевые блестеть,

продавщицы розовые в чепцах
кружевных должны поднимать
хруст слоёных изделий в щипцах,
и ребёнок, влюблённый в мать,
должен гибнуть в слезах,

и старик, что бредёт домой,
должен вспомнить, как – боже мой! —
как сюда он любил
заходить, как он кофе пил,
чёрный кофе двойной,

«Больше, – шепчет, – лишь смерть одна,
потому что должна
этот шорох и запах смыть...» —
и глухая должна стена
тень его укрупнить,

и тогда снегопад густой
всё укроет собой,
и точильного камня жрец
сотворит во мгле под конец
дикий танец с искрой.

«Если это последний...»

Если это последний
день, то я бы сошёл
в том саду,
где стоит дискобол
и холодный и бледный

свет горит, как в аду.

Дочь моя, или сын мой,
или друг мой идёт
впереди,
чёрен твой небосвод,
город снежный и дымный,
нет другого пути.

Сохрани тебя Боже...
Путь ли это домой
вдоль реки...
Ты и вправду живой?
Дай дотронуться всё же
до пальто, до руки.

«...ИЗ ТЕХ, КТО ЖДЁТ ЗВОНКА И ДО ЗВОНКА...»

...из тех, кто ждёт звонка и до звонка
за миг уходит из дому, из тех,
кому не нужно ничего, пока
есть не интересующее всех,
из тех, перебирающих листы
с печатными столбцами, находя
в них водяные знаки красоты
и – ничего немного погодя,
из тех, себя увидевших в родне,
как в зеркалах возможного, от них
бежавший и привязанный вдвойне
к отвергнутому, из ещё живых...

«Днём в комнате зимы начальной...»

Днём в комнате зимы начальной
голубоватый свет и потолок белесый.
Я вижу тебя девочкой печальной,
вне сплетенного к жизни интереса.

Без твоего участия день стихает,
придёт с работы мать, суп разогреет
грибной (за дверью связка усыхает),
потом над кройкой и шитьём стареет.

Ещё увидишь: лампы свет прикроет
газетой, и такая грусть настанет,

как будто ты раздумываешь – стоит
или не стоит жить, – не слишком тянет.

Я там тебя люблю, и бесконечней
не знаю ничего, не знаю чище,
прекраснее, печальней, человечней
той нерешительности и свободы нищей.

На ладони

1. «Как я свободен...»

Как я свободен —
как отцепившееся небо,
и никому не должен, и никуда не годен.
Я только вдоху повинуюсь слепо.

И это всё, всё, всё,
живущему не надо оправдания —
столь выпукло его лицо
и явственно его дыханье.

2. «Это долгий путь...»

Это долгий путь
вдоль по набережной куда-нибудь.
Вдруг найдёшь на краю
городского ума – в лопухах
и репейниках жизнь свою.
Жизнь свою, ах.
Надышавшись мокрыми сливами
синей реки,
вдруг найдёшь вопреки
смыслу – в пальто и кепке
жизнь свою в устройствах куда-нибудь кем-то
на работу. Осенью, часа в четыре,
найдёшь себя у себя на ладони.
Это долгий путь в гаснущем мире,
в солнечных сумерках, на фоне
кирпичной стены.

3. «Я ли при жизни...»

Я ли при жизни,
воздух ли здесь у лица?
Свет обступает.
Кто тебя видит и кем ты так выбран стоять
в солнечной осени возле киоска?

Нет никого, без тебя
кто бы не мог обойтись, нет никого.
Боль – это то, что стихает.
Так ли правдиво-пустынно твоё существо?

«Я шум оглушительный слышу Земли...»

Вступление

Потому что я смертен. И в здоровом уме.
И колеблются души во тьме, и число их несметно.
Потому что мой разум прекращается разум.
Что насытит его – тем, что скажет, что я не бездушен,
если сам он пребудет разрушен, —
эти капли дождя, светоносные соты?
это солнце, с востока на запад летя
и сгорая бессонно?
Что мне скажет, что дождь – это дождь,
если мозг разбежится как дрожь?

Так беспамятствует, расщеплено, слово, бывшее Словом,
называя небесным уловом то, о чём полупомнит оно.

Для младенческих уст этот куст. Для младенческих глаз.
До того как пришёл Иисус. До того как Он спас.
Есть Земля до названья Земли, вне названья,
где меня на меня извели, и меня на зиянье
изведут. Есть младенческий труд названья впервые.

Кто их создал, куда их ведут, кто такие?

Усомнившись в себе, поднося свои руки к глазам,
я смотрю на того, кто я сам:
пальцы имеют длину, в основании пальцев – по валуну,
ногти, на каждом – страна восходящего солнца,
в венах блуждает голубизна.
Как мне видеть меня после смерти меня,
даже если душа вознесётся?

Этой ночью – не позже.

Беспризорные мраки, в окно натолпившись, крутя занавеску,
пугая шуршаньем, бумагу задевая, овеют дыханьем дитя.
Дитя шевельнёт губами.
Красный мяч лакированный – вот он круглит на полу.

А супруги, разлипшись, лежат не в пыли, и пиджак обнимает в
углу спинку стула, и масляет вилка на столе, и слетают к столу
беспризорные звуки и мраки, и растут деревянные драки веток
в комнате, словно в саду.

А бутылка вина – столкновение светящихся влаг и вертящихся сфер, и подруга пьяна, и слегка этот ветер ей благ – для объятий твоих например. Покосится страна и запаянный в ней интерьер. Вот вам умное счастье безумных, опьянение юных и вдох для достания дна.

Одинокая женщина спит-полуспит. Если дом разобрать, то подушка висит чуть пониже трубы заводской, чуть повыше канавы. Станет холодно пуху в подушке. Спит гражданка уснувшей державы, коченея в клубочке, как сушка. Ты пейзаж этот лучше закрой.

Ночь дерева, каторжника своих корней, дарит черномастных коней, разбегающихся по тротуару.
Ночь реки, шарящей в темноте батареей, загоняет под мост отару золоторунных огней.
Ночь киоска, в котором желтеет душа киоскёра.
Ночь головного убора на голове манекена.
Ночь всего, что мгновенно.

Проживём эту ночь, как живут те, кто нищи. Разве это не точный приют – пепелище? *Что* трагедия, если б не шут, тарабаниющий в днище?

Вот почему ты рвёшься *за* предмет, пусть он одушевлён, – чтоб нищенствовать.
Там, где пройден он, к нему уже привязанности нет.
Две смерти пережив – его и в нём свою, – не возвращай земного лика того, кто побеждён, как Эвридика. Для оборотней мёртв его объём.
Лишь ты владеешь им, когда насквозь его прошёл, твои края не те, где нищенствуют вместе или врозь, – но нищенствуют в *полной* нищете.

Здесь расстаеться, нервы на разрыв испытывают, ненависть вменив в обязанность себе для простоты, здесь женщина кричит из пустоты лет впереди.
Печальнейший мотив.
А более печального не жди.

Старушечьи руки, и рюмочка из хрусталя, и несколько капель пустырника, и опасенье, что жизнь оборвётся вот-вот, но ещё, веселя, по капле даётся, и вкусно сосётся печенье. И крылышки моли из шкапа летят, нафталя.

В большую глубину уходит кит, чернильной каплей в толщу океана опущена душа левиафана, полночная душа его не спит.

Он с общим содержанием столь же слит, сколь форма его в мире
одинока, и, огибая континент с востока, — уходит, как чутьё ему
велит.

И высится в море терпенье скалы, осаждённой таким
неслыханным ветром морским, что слышится ангелов пенье.

И разум упорствует, сопротивляясь тьме. Но тотчас, из хаоса
выхвачен самосознанием, он хочет бежать бытия и вернуться к
зиянию, подобному небу, когда оно ближе к зиме.

Бедняжливый узник в своей одиночной тюрьме страстей, он
расхищен на страхи, любовь, покаянье, и нет ему выбора —
только принять умирание всего, что он слышит, принять его в
ясном уме.

Часть первая

...коротенький обрывок рода.

А. Блок. Возмездие

«Мальчик встанет, телом тонким потянувшись...»

Мальчик встанет, телом тонким потянувшись, мальчик встанет, умалением свободы —
поперёк — сегодня станет,

а сквозящую наружу душу плачем остановят, а возьмут обидой горло те, кто мальчика
изловят,

подойдёт к тетрадке мальчик и запрет в портфель тетрадку, аккуратно съест яичко,
мальчик съест яичко всмятку,

голубой белок, который приварился к скорлупе, соскребёт фамильной ложкой, затеря-
ется в толпе,

он в автобус сядет львовский на большое колесо и покатится на Невский в одинокое
кино...

Вечерняя ворована сирень, все запахи затылочны и гулки, за папиросною бумагой брез-
жит день, как бы рисунок в «Малахитовой шкатулке»...

Так мальчик возвращается, дрожа, с букетом маме, постаревшей на год, как жалко
маму, как колотится душа, как гости с хохотом на птицу подналягут...

Когда бы нюх звериного чутья мне шупал путь, блуждая по Европе, то запах отыскался
б не в укрепе, а в комнате для стрижки и бритья:

картавый тип с повадками врача, орудуя машинкой по затылку, то выпускает в зер-
кало ухмылку, как скользкую рыбёшку, то, с плеча прицелившись и отведя бутылку, сжимает
грушу, дурно хохоча, —

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.